

ЕЛЕНА КРЮКОВА

ЛЕДДОХОД



Елена Крюкова

Ледоход

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Ледоход / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836850-9

В новой поэтической книге Елены Крюковой «Ледоход» — пять композиций: «Литургия оглашенных», «Литургия сумасшедших», «Мать. Литургия верных», «Кхаджурахо», «Франция. Фреска». Храмом, где идет сакральная служба, становится весь зимний мир. Пациенты «желтого дома» сами служат свою литургию, где кондаки и ирмосы — искалеченные судьбы. Цикл «Кхаджурахо» — апология любви. Жизнь идет, как великий Ледоход, вскрывая тяжелые льды, неся воды подлинной страсти поверх равнодушия, измены, обмана...

ISBN 978-5-44-836850-9

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

ЛЕДОХОД	6
Запах керосина – запах жизни	7
Три «Литургии» Елены Крюковой	9
Адам и Ева в «Кхаджурахо»	15
Цвет и свет прекрасной Франции	16
ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ	18
Проскомидия	18
«Я пойду по улице хрусткой...»	20
Богоматерь Владимирская. Икона	22
«Милые, спите. Вас не тревожу...»	23
«– Мне в алтарь нельзя было – а я сюда влезла...»	24
Великая Ектенья. Молитва Елены Федоровны	25
«– За всех плавающих, путешествующих, летающих, едущих! ...»	27
Иркутский вокзал	28
Хлеб	29
Иоанн Креститель. Икона	30
«АНТИФОН...»	32
Св. Николай Мирликийский. Икона	35
Св. Мария Египетская. Икона	37
«ТРЕТИЙ АНТИФОН...»	38
«Плачет сестра моя: замуж никто не берет...»	39
«У меня вокруг шеи ...»	40
«– Кто ты, женщина золотоволосая?...»	41
Колония	42
«Я желала... Я хотела...»	43
Вознесение Богородицы. Икона	44
Икона Всех Святых	45
Спас Нерукотворный. Икона	48
Икона Страшного Суда	50
Колыбельная	51
«...Смертью смерть ты попрал...»	52
Правда	53
ЛИТУРГИЯ СУМАСШЕДШИХ	54
Манита пророчествующая	54
«Лечебницы глухие стены...»	57
«Тьма стиснута беленою палатой...»	58
«Темнота. Иду по палатам...»	59
«– Родные мои...»	60
«...Мы...»	62
«– Не тронь меня. Не тронь меня...»	63
«Трубы завода войной гудят...»	64
«Парня, качаясь, девка слушала...»	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Ледоход

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-6850-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЛЕДОХОД

В новой поэтической книге Елены Крюковой «Ледоход» – пять композиций: «Литургия оглашенных», «Литургия сумасшедших», «Мать. Литургия верных», «Кхаджурахо», «Франция. Фреска».

Отталкиваясь от древнего канона, не теряя ноты духовности, Крюкова создает масштабные стиховые фрески, и их современная пластика и образная оригинальность неоспоримы. Хотя поэт находится внутри классической стихотворной парадигмы, в его силах развернуть перед нами веер уникальной символики: в «Литургии оглашенных» храмом, где идет сакральная служба, становится целый мир (и характерно, что он зимний – для Крюковой традиционно сочетание холодной вьюги и пылающих чувств); пациенты «желтого дома» сами служат свою литургию, где кондаки и ирмосы – искаленные судьбы.

Мать трех несчастных детей в «Литургии верных» – особняком стоящая фигура, образную силу которой подметил в свое время Роман Виктюк. «Кхаджурахо» и «Франция. Фреска», контрастируя сюжетно, дополняют друг друга исповедальностью смелой любовной лирики и богатством культурных аллюзий. Современный храм Кхаджурахо – дом, где за каждой дверью – своя любовь, свои встречи и разлуки... А цикл «Франция. Фреска» то источает аромат лилий, то сбивает с ног гарью великих пожарищ. Эмиграция и революция, короли и смерды, – и сама бурная жизнь поэта, с ее парижскими этюдами и ронскими приключениями, свободно вливается в русло этой французской мегапоэмы.

Жизнь идет, как великий Ледоход, вскрывая тяжелые зимние льды, неся воды горячей и подлинной страсти поверх равнодушия, измены, обмана...

Запах керосина – запах жизни

*В сем мире я поругана была.
На топчане распята. В морду бита.
И все ж – размах орлиного крыла
Меж рук, воздетых прямо от корыта.*

Елена Крюкова

Протягивая Адаму яблоко, не соблазняет. Кормит. Вытягивает с того света. Не в райских кущах происходит дело – скорее в джунглях, а по-нашему, «в тайгах», а еще более по-нашему – в бараке сезонников, в приемном покое дурдома, в преисподней метро. И она, поденка, сезонница, железнодорожка, прошедшая через стон вокзалов и вой кладбищ, не может обойтись без тысячелетних мифов, и вычитывает их из старинных книг, и все пытается соединить с этим стоном, с этим воем, с этим хрипом, с этим матом.

Христос у нее не по Тивериадской воде идет, Он бежит по тонкому байкальскому льду и, добежав, просит глоток водки, и на Него набрасывают тулуп.

Волоча крест по грязи, просит у встречного мужика курнуть. Магдалина – девочка с косичками... Целует ледяную ступню, рассыпая волосы по сугробу. Холодно. Снежной белизной замыкается черный путь. И не в «яслях лучезарных» эта жизнь начинается, а в «проходных дворах», в «дыму котельных». Вот это Рождество:

*Искусаны в кровь одичалые рты.
Никто не подходит. Храпят акушеры
В каптерке. И болью предродовой веры
Бугрятся божественные животы.*

Не рабский зрак – содомский. Когда-то безумная смелость требовалась от художника – сквозь божественное ослепление прорваться к реальности: написать Магдалину площадной девкой. Теперь безумная кротость требуется: написать площадную девку – Магдалиной. В нашем низком прозреть – высокое.

Катят в лимузинах «новые русские»; чернобыльские вдовы глядят вслед их выхлопам. Стучат топоры рубщиков на рынках, малиновым цветом горят скулы девок, и никто не скажет, что же это с нами: конец света? возрождение? припадание к христианским истокам? дикий взрыв языческой мощи?

Неважно. Так и так – любить.

«Язычники, отребье обезьяны, я так люблю, беспомощные, вас, дерущихся, слепых, поющих, пьяных, глядящих морем просоленных глаз...»

«Люблю» – слово слепящее, оно открывает наготу душ и немощь тел.

Оно роднит теперешнего афганского калеку с доходягой сорок шестого года, ведущим «по дегтю озерной волны» баржу с прогнившей картошкой. Довезет? Загнется? Смерть – таинство, смерть – быт. Детям варят желатин. За слиток масла платят золотом. За кусок проржавленного сала могут убить, как убили мужика «на Карповке». Запах керосина – запах жизни. Это жизнь, где война равна миру.

«Отец не плакал – он давал слезам затечь обратно в душу».

На той барже – отец, как явствует из биографических створов героини. А может, сын, как явствует из ее воспаленных чувств. Какая разница? Отец, сын, или муж – все едино в мире, равном войне, где надо спасать каждого. На то и женская душа, чтобы спасать, не различая, свой или чужой, потому что свои – все.

«Мои сыны они – и бледный лейтенант, и зэк пропащий».

В мужчине сила, в женщине слабость – ответил когда-то основоположник научного коммунизма на вопрос шуточной анкеты, невзначай сформулировав нешуточный принцип, на котором по традиции стоит человеческая природа.

В России, как всегда, все «наоборот»: российская реальность поменяла детей природы местами. В мужчине не чувствуется патентованной силы, и потому эту силу ищет в себе женщина. Не писаная красавица и не Магдалина с косичкой, а двужильная конь-баба, в морщинах, с иссохшей грудью, с распяленным ртом, с дощатыми углами плеч, со звонкими топорищами ключиц, с животом в рубцах. Только такая и справится.

*– Вставай, мужик, дурак, какой ты глупый —
Замерзнешь, задубеешь, заскулишь...
Тебя целую крепко прямо в губы,
Прогоркло, пьяно дрогнувшие лишь.*

Такая оживит. Мертвого поднимет! Тут тебе не в горящую избу и не коня на скаку, тут – из духовного Чернобыля выволакиваться надо, и железных коней укрощать пожутче есенинских. И не традиционными средствами (соловей... роза... – в наших-то широтах?!), а тем спасать, что порождает и «соловья», и «розу», и весь эротический арсенал лирики на нашем колотуне.

«Ибо Эроса нет, а осталось лишь горе – любить».

Она любит. *«Невидяще, задохнуто, темно. Опаздывая, плача, проклиная. До пропасти. До счастья. До края...»*

Нижегородка Елена Крюкова, стихи которой я цитировал, – ярчайшее дарование в лирике последних лет. Но я не о «лирике». Я о женской душе, которая соединяет в нас концы и начала, упрямо вчитывая «русское Евангелие» в нашу неповторимую жизнь.

Лев Аннинский

Три «Литургии» Елены Крюковой

Христианская мифология, впрочем, как и все другие мифологии, не раз питала русскую и мировую поэзию, и то, что Елена Крюкова обратилась к литургическим текстам, послужившим ей верой и правдой для создания сугубо мирских художественных произведений, совсем не удивительно.

Можно вспомнить небезызвестную в свое время ораториальную композицию «Литургия оглашенных» Николая Рыбникова. Можно припомнить тексты Есенина, Городецкого, Блока, Клюева, где просвечивают и ветхозаветные, и евангельские, и литургические ассоциации. Но Крюковой, на мой взгляд, сделана беспрецедентная попытка представить в стихотворной форме архитеконику и архитектуру некоего воображаемого храма, где сама жизнь обращается в церковную службу, а служба – в жизнь.

«Литургия оглашенных» оправдывает свое название – именно потому, что персонажи, в ней выведенные, находятся в пространстве «простой жизни», жизни народа, который, возможно, и понятия не имеет (а если имел это понятие, то порядком подрастерял его...) о религии, вере, Боге и сакральности самой Божественной Литургии. Этот народ толпится у дверей храма, но еще не входит в него. Но, может быть, эти простые люди («бедные люди», по Достоевскому...) на деле святее самого прославленного святого? Кто знает?

В «Проскомидии», что названа так потому, что приготавливает само развитие действия (в светской литературе этот фрагмент можно было бы назвать прелюдией, вступлением, прологом), недвусмысленно дано понять: лирическая героиня этой вещи будет ее главной героиней, по сути, это дневник, написанный литургическими символами.

Героиня идет по зимней улице, потом входит во храм – и тут-то начинается действие самой «Литургии», только вместо иерея, певчих на хорах, диакона и прихожан перед нами возникают другие люди. Диапазон этого «людского моря» широк – от старухи-нищенки Елены Федоровны, бывшей графской дочки («Великая Ектенья. Молитва Елены Федоровны»), до старого бакенщика с бутылкой за пазухой («Иоанн Креститель»), от вокзального мальчишки («Иркутский вокзал») до лагерного охранника с его верным псом («Эх, девка дорогая, упился я отраву...»).

Но и знаменитые святые тут тоже появляются: они, как и их прообразы, повторяют их святые слова и сакральные жесты – таков святитель Николай, держащий на ладони град – родной город героини («Св. Николай Мирликийский. Икона»), такова «Богоматерь Владимирская» – одна из лучших стихотворных икон «Литургии оглашенных», – и внезапно канонические святые тоже становятся «людьми из народа» («Св. Мария Египетская», «Вознесение Богородицы на небо», «Спас Нерукотворный»). В этом смысле одно из самых впечатляющих пространств этой стихотворной фрески – фрагмент текста, где поэтическим образам предшествуют эпитафии из «Нагорной проповеди» (так называемые «блаженства»). «Блаженства» Крюковой не иллюстрируют евангельские максимы, но, напротив, окунают в парадоксальную холодную «воду» суровой и жесткой современности:

*«Блаженни кротцыи, яко тиши наследят
землю».*

*У меня вокруг шеи —
воротник серенький-серенький!
Я не открыла никакой Америки.
Подъезд – служба – общепит – подъезд —
Это мой маленький, потертый крест.*

*Шнурок черный. А крестик золотой.
Я не блещу никакой красотой.
А нынче в автобусе сдавили так
Что под левое ребро вошел пятак
Смолчала я
кротко глядя во тьму
Ибо мой крик
не услышать никому*

Все теснее, плотнее перемешиваются нынешнее время и мифологические времена. Впрочем, подлинная церковная служба тоже современна – в той степени, насколько «вечные», архетипические слова могут найти отклик в любом живом сердце.

Чем ближе к финалу, тем более убыстрятся темпоритм и отдельных стихов, и всей композиции. На «Иконе Страшного Суда» мощной волной встает скрытый от наших «повседневных» глаз космос – он и пугающий, он и родной, потому что мы все когда-нибудь окажемся в нем, он и притягательный для художника – сладко живописать бездонный его, многозвездный колодец:

*...А два безумных седых старика
К тебе подлетят и под мышки возьмут.
Ты увидишь синие звезды и черные облака.
Да, это и есть твой Страшный Суд.
Золотой, чернокнижный, кровавый и земляной,
Грохочущий чисто, как водопад,
Над грязным миром, над потной войной,
Над Временем, что идет только назад.
Над Временем, что идет только вперед!
Даже если назад – все равно вперед!
И ты своею смертью докажешь, что
Никто все равно
Никогда не умрет.*

Но, конечно, ключевым стихом ко всей «Литургии оглашенных» можно считать последнее стихотворение – «Правда» (снова с эпиграфом из евангельских «Блаженств»: «Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся»). В «Правде» сконцентрированы, собраны в комок, в плотный колючий пучок истины, которые показались бы прописными, не будь они так насущны и так всегда востребованы человеком и человечеством. Это абсолютно высоко-риторическое и в то же время ошеломительно личное, личностное стихотворение, где трагедия пребыть и умереть сильной рукой трансформирована в радость жить вечно:

*Вы, плотники и хлебопеки!
Медсестры и гробовщики!
Вся ваша правда, человеки.
Вам кривда будет не с руки.*

*И в этом мире, где дощатый
Настил – над пропастью прогнул,
Я знать хочу, кто – виновато,
Кто – без вины себя хранил!*

*Кто двадцатипятисветочный,
Сиротский свет в ночи лия,
Вставал с постели вдруг в парчовой,
Заместо нищего белья,*

*В пророческой, рассветной ризе,
И разверзались уста,
Чтоб вытолкнуть слова о жизни,
Где Правда,
Кровь
и Красота.*

Да, это написано просто, если не сказать слишком просто; зато сильно и от сердца; сейчас, избалованные чудесами версификации, так поэты не пишут (или пишет мало кто), если можно так сказать, это старая школа. Это прямые ассоциации с лучшими русскими поэтами 20-х, 30-х годов прошлого столетия. Все новое, как известно, хорошо забытое старое. Вровень с финалом крюковской «Литургии оглашенных» поставлю, быть может, есенинского «Пугачева» или «Солнце Осьмнадцатого года» Николая Клюева.

* * *

«Литургия сумасшедших» – совсем иное пространство. Оно мрачное, оно остросовременное и на первый взгляд сугубо несчастное: судьбы пациентов психиатрической лечебницы – кто так подробно пронаблюдал их, ученые доктора или сам автор? Был ли автор наивным и внимательным свидетелем, тайнозрителем этих, будто вытасненных из кругов Дантова Ада жизней? За кадром остается принадлежность художника к миру, им изображаемому. Во всяком случае, он всегда имеет на это право.

Сумасшедший, умалишенный – образный магнит для любого писателя. Загадки психики человека есть разгадки его социальной (или асоциальной) жизни. «Желтый дом» – непочатый край образов, гигантское непаханое поле персонажей и мизансцен. Трудно перечислить и русских, и европейских литераторов, что отдали дань этой, прямо скажем, трагичнейшей теме. Кен Кизи и Дэниел Киз, Михаил Булгаков и Антон Чехов, Герман Гессе и Пауло Коэльо, Достоевский и Чулаки и многие другие прикоснулись к сложнейшим тайнам «схождения с ума». А Крюкова вдруг задает, в одном из начальных стихов «Литургии сумасшедших», вопрос столь же спокойный, сколь и тревожащий:

*Скажи мне, кто больной, а кто здоровый?..
Нас замесили. Тесто подойдет
Как раз к утру.
В начале было Слово...
В конце...
...уже никто не разберет...*

Перед нами, будто держась за руки, чудовищным хороводом пляшут, вставая со своих убогих больничных коек, эти несчастные – кто сошел с ума оттого, что убил своего новорожденного ребенка, кто испытал ледящее душу насилие в бандитском притоне, кто потерял разум, отчаявшись жить на нищем дне никчемной жизни. Но, кому болезнь врождена, тоже

не осознают ее; они по-прежнему тянут руки к миру «нормальных», они хотят вернуться туда, и на фоне этого драматического кордебалета безумцев внезапно появляются двое.

Это художники – стареющая художница Манита и ее друг, живописец Витя. Витя приходит к Маните в палату, и они часами сидят, взявшись за руки. Лишь в этом детском жесте выражается их великая, на всю оставшуюся жизнь, любовь.

Манита сошла с ума от многих причин. Ей не давали писать то, что она хотела, она прикладывалась к бутылке, она, потеряв близких, осталась одна – но почему при чтении «Литургии сумасшедших» нам кажется, что она попала в эту скорбную больницу по ошибке?

Ларчик открывается, видимо, до смешного просто. Манита – ипостась автора. Через биографию художника Крюкова показывает, обнажая, самую суть творчества, которое, куда ни кинь, есть трагедия. Тебя не видят – не слышат – не понимают – отталкивают – не любят – не выставляют – не покупают, и ты жжешь свои картины (симфонии, рукописи...) в печке (на газовой плите, в тазу, на костре на осенней холодной улице). Это духовное самоубийство страшнее «натурального».

И именно от лица Маниты, пациентки новой палаты №6, а отнюдь не от лица автора звучит монолог о людях-современниках, путь которых предрешен, предначертан:

*...Куда мы премся, милые,
Огромною толпой?
Что будет за могилою —
Побудка и отбой?
Куда идем мы, родные?
А там, куда идем,
Веселье, голодные,
Под снегом и дождем, —
И плясуны площадные,
И сварщики ракет,
И судьбы, беспощадные,
Когда пощады нет,
Чугунные военные
И мастера сапог,
И черною Вселенною
Идущий грозно Бог, —
Там польхает сводами,
Там чахнет под замком
Над новыми народами
Он – сумасшедший дом!
Там снова скажут правила,
Как надо есть и пить,
Какая доза радости
И польза – в горе жить...
Там снова, чуть замешкайся,
Прикрикнут: «Лечит труд!» —
И в шахту – тьму кромешную —
Целебно уберут...*

«Литургия сумасшедших» заканчивается сценой, где медсестры сидят в своей каптерке, пьют чай, а потом втихаря выпивают из мензурок спиртику – согреваются. Эта бытовая неприятельная сценка, после громов и молний промелькнувших перед нами сумасшедших жиз-

ней, яснее всего дает понять, как на самом деле люди друг от друга далеки, и расстояние протянутой руки часто бывает дальше пути между городами, странами и временами.

И в этом – главное и самое пронзительное, ничем неодолимое безумие жизни человека на земле.

* * *

«Мать. Литургия верных» – монопьеса, написанная Еленой Крюковой для одной актрисы, что должна сыграть в этой пьесе роль Матери троих детей. Дети – взрослые, Мать – старая. Не настолько старая, чтобы просить близких о помощи, о подмоге, – но уже и не настолько молодая, чтобы успевать работать, заботиться, ухаживать, обихаживать.

Силы теряются, и нечем и неоткуда их восполнить. Рембрандтовский колорит всей пьесы – тревожная тьма, из тьмы светится, наплывает лицо Матери, и через один ее светящийся лик мы видим все лица ее времени.

Эта вещь написана с неподдельным пафосом – а пафос, как явление, заметно уже утрачен в искусстве, тогда как мастера прошлого без пафоса просто не обходились. Мать, у которой дочь – проститутка, один сын – умалишенный, спятивший на модных «летающих тарелках», другой сын – пьяница и хулиган, обитатель бандитских подворотен, по ходу действия пьесы произносит массивные трагические монологи, рисующие жизнь и ее самой, и ее детей. Почему они стали такими? Есть ли в этом вина Матери?

Мы видим Мать в горячем цехе, где она не может докричаться до мастера сквозь шум машин; видим ее в придорожной пельменной, где она пытается согреться – и случайно подслушивает песню парня-рокера, которую бессознательно повторяет за ним холодными губами; видим ее дома, она готовит еду и поджидает детей, и является подвыпившая, похабная дочь, потом сынок-безумец, потом пьяный старший сын; она пробует их вразумить – напрасно. Ее голос для детей поистине глас вопиющего в пустыне.

Мать забредает в церковь, стоит на Литургии, и Литургия оглашенных плавно переходит в Литургию верных; она стоит навтыжку, как солдат в строю, и слезы льются по ее щекам. Она вспоминает сестру Глафиру, чью жизнь, как черствую корку, обглодали сталинские лагеря; вспоминает мужа, себя, молодую, и их любовь – то, как они долго ждали детей, детишек все не было, и наконец они стали рождаться, и уж так супруги радовались...

Разве можно было увидеть будущие страшные пороки в румянном личике младенца?

И в одном из последних монологов Мать напрямую обращается к Богу. Есть ли смысл в этой молитве? Или она – уже последнее прибежище отчаяния?

*В последний раз Тебя я попрошу.
И, может, Ты в последний раз поможешь.
Ведь без меня помрут мои детишки.
В них силы нет.
Вовеки не спасутся.
Я. Только я. Я их должна спасти.
(Поднимает лицо).
О, помоги!.. Пусть я уже не верю —
Ты есть. Услышь!.. А если не поможешь —
Тогда сложу дорожный узелок
И побреду по красному суглинку,
Размытому осенними дождями.*

Но финал, однако, неожиданный. Никак не ждешь того, что происходит. Ночной город, река подо льдом, горят фонари, Мать бредет, бредово беседуя с Богом уже на краю пропасти своего неизбывного горя, – и тут на нее нападает пьяный человек и убивает ее – за копейку в кошельке, за деньги, что ему надо тут же пропить, ведь без водки он умрет.

Когда он узнает в убитой свою Мать – из него вырывается крик, почти звериный рык. Но дело сделано. Ни криком, ни слезами горю не поможешь.

Непритязательно, скупое, скорбно звучит этот одинокий голос, изображена одна-единственная человеческая жизнь. В этой жизни у женщины есть дети. Трое детей – казалось бы, богатство и счастье. Но кости кинуты судьбой по-иному. О чем заставляет задуматься эта бесхитростная, печальная вещь? О том, что каждый из нас однажды рискует быть лишенным сердца; и тогда, по Достоевскому, «все дозволено» и все возможно.

Анастасия Померанская

Адам и Ева в «Кхаджурахо»

Цикл «Кхаджурахо» (он еще носит подзаголовок «Книга любви») – это «Песнь Песней» плотской и одновременно чрезвычайно возвышенной Страсти между мужчиной и женщиной.

Я не знаю в русской поэзии более откровенного поэтического воспевания физической любви, чем в стихотворении Елены Крюковой «Мужчина и женщина, квартира 21», одновременно лишённого даже малейшего намека на пошлость или безвкусицу.

Это какая-то языческая библейская любовь, что-то от Адама и Евы. Причём интересно это столкновение духовного Храма и бытовой квартиры, коммуналки, общаги.

В итоге всё равно получается Храм, где известное человеческое чувство сродни молитве.

Павел Уляшов

Цвет и свет прекрасной Франции

«Франция. Фреска» – большой стихотворный цикл Елены Крюковой.

Из стихов ясно, что эта страна автором любима и автор ее хорошо знает – не понаслышке.

Живые этюды французской жизни поэта (вот героиня бродит по парижским мостам, вот ее муж, художник, пишет с натуры тюрьму Консьержери и «зеленоглазую Сену», вот она стоит под сводами собора Сен-Жан в Лионе, вот, затаив дыхание, входит в православный храм на рю Дарю в Париже...) перемежаются массой культурных ассоциаций, культурных аналогий и культурных воспоминаний.

Символика Королевы Марго сменяется темой скорбной русской эмиграции (стихи «Памяти Вергинского»), видение молодой Марии Стюарт на мосту Сен-Мишель заслоняют полумрак и горящие белые свечи Нотр-Дам. Призраки Французской революции и песня столетнего старика, бывшего белого офицера, в парижском кафе, сон о Веселом Доме и реальность музея д'Орсэ с «Голубыми танцовщицами» Эдгара Дега – все это, конечно, искусство чистой воды, и здесь, в этой французской книге, Крюкова предстает как художник-колорист, как художник-реалист (ее этюды, особенно «Мост Неф» и «Свечи в Нотр-Дам», неповторимы...) и одновременно – как художник-символист и философ (таковы стихи «Memento Lutecia», «Хиосская резня», «Жан-Кристоф»).

Приемы для воссоздания «авторской Франции» у Крюковой разнообразны, но надо особо отметить контрасты чистой, даже интимной лирики и театральных котурнов, – а котурны, этот ярус, этот «вид сверху» здесь, видимо, были автору необходимы, чтобы «дальше видно и слышно» было, чтобы не пугались сугубой яркости, локального цвета и вспышек странного света.

Это необычная Франция – здесь читатель не найдет ни туристических красот, ни уличных сценок, ни документальных парижских, лионских, вьеннских поэтических «съемок»: эта Франция – сугубо личная, такой нет ни у кого, и тем интереснее этот опыт «портрета страны». Не травелог, но исповедь; не фотография, но музыка – вот авторская установка, позволившая создать это многослойное, с массой красивых лессировок, стихотворное полотно – под стать полотну Курбэ или Ренуара, кстати, воспетых в цикле:

*...И расступятся властно озера, леса!
И разымутся передо мною
Лица, руки, колени, глаза, голоса, —
Все, что жизнью зовется земною!
И я с кистью корявой восстану над ним,
Над возлюбленным миром, зовущим, —
Вот и масло, и холст превращаются в дым,
В чад и дым, под Луную плывущий...
И в дыму я удилищем кисти ловлю
Рыб: щека... вот рука... вот объятье... —
Вот мой цвет, что так жадно, помертно люблю:
Твое красное, до полу, платье...
И, ослепнув от бархатов, кож и рогож,
Пряча слезы в небритой щетине,
Вижу сердцем: а Бог – на меня Ты похож?.. —
Здесь, где голо и пусто, где звезды как нож,
Где под снегом в полях – помертвелая розь, —
На ветрами продутой Картине.*

И навек останется на этой французской фреске пара влюбленных – художник Володя и его любимая, что бродят по прекрасному Парижу; там они гуляют и до сих пор – их можно увидеть на мосту Александра Третьего, близ Лувра, на улице Риволи:

*Наступит день – под ветром,
визжащим пилою,
Падем на колени
перед Зимней Звездой...
Рисуй Консьержери. Все уходит в былое.
Рисуй, пока счастливый, пока молодой.
Пока мы вдвоем
летаем в Париже
Русскими чайками,
чи в краске крыла,
Пока в кабачках
мы друг в друга дышим
Сладостью и солью
смеха и тепла,
Пока мы целуемся
ежесекундно,
Кормя французят любовью – задарма,
Пока нас не ждет на Родине беспутной
Копотная,
птичья,
чугунная тюрма.*

Нина Липатова

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Проскомидия

Снега на улице покаты.
И ночь чугунно тяжела.
Что ж, настает мой час расплаты —
За то, что в этот мир пришла.

Горит в ночи тяжелый купол
На белом выгибе холма.
Сей мир страданием искуплен.
Поймешь сполна – сойдешь с ума.

Под веток выхлесты тугие,
Под визг метели во хмелю
Я затеваю Литургию
Не потому, что храм люблю.

Не потому, что Бог для русской —
Всей жизни стоголосый хор,
А потому, что слишком узкий
Короткий темный коридор,

Где вечно – лампа вполнакала,
Соседок хохот и грызня —
Так жизни мало, слишком мало,
Чтоб жертвовать куском огня.

Перед огнем мы все нагие —
Фонарный иль алтарный он...
Я подготовлюсь к Литургии
Моих жестоких, злых времен.

Моих подземных переходов.
Моих газетных наглых врак.
И голых детдомов, где годы
Детей – погружены во мрак.

Моих колымских и алданских,
Тех лагерей, которых – нет?!
И бесконечных войн гражданских,
Идущих скоро – сотню лет.

Я подготовлюсь. Я очищусь.
Я жестко лоб перекрещу.

Пойду на службу малой нищей,
Доверясь вьюжному плащу.

Земля январская горбата.
Сковала стужа нашу грязь.
Пойду на службу, как солдаты
Шли в бой, тайком перекрестясь...

И перед музыкой лучистой,
Освободясь от вечной лжи,
Такой пребуду в мире чистой,
Что выслушать – не откажи!

И, может быть, я, Божье слово
Неся под шубой на ветру,
Его перетолкуя, снова
За человечью жизнь помру.

И посчитаю это чудом —
Что выхрип, выкрик слышен мой,
Пока великая остуда
Не обвязала пеленой.

«Я пойду по улице хрусткой...»

Я пойду по улице хрусткой.
Будут ноги мои жечь алмазы.
Я пойду в мехах, в шубе русской.
Краской черного подмазанного глаза
Возмущу банные прилизанные лица!
А я гордая, спокойная ныне.
Довелось мне в вере укрепиться —
В людском море, в человеческой пустыне.

Подойду к своей белой церкви
С купоросно синими куполами.
Ты, кто лаял на нее, цепной цербер!
Неужели ты так быстро – с нами?!
– Ни за что тебе не поверю.
Ты, цербер, цензор,
ты плевал мне в спину.
Но распахиваю золотые двери.
За тебя поклонюсь Отцу и Сыну.

Поклонюсь вам направо и налево —
И учительнице музыки первой,
Что от рака печени умирала,
А Бетховена мне до конца играла.

Поклонюсь вам земным поклоном,
Ибо земное зачатие – тоже чудо:
Матери, меня исторгшей из лона,
И отцу, не продавшемуся иудам.

И святому Василию в синем,
И святому Владимиру в красном,
Ибо были, как небо в звездах – красивы,
Ибо любила их – не напрасно.

В мире дольнем можно все опошлить.
Поклонюсь вам налево и направо —
Торговец, весь в мозолях от госпошлин,
Честный аптекарь, продающий отраву.
Поклонюсь в детской колонии детям,
Знающим палочные удары.
Поклонюсь тем, кто еще жив на свете —
Старикам и старухам очень старым.
Поклонюсь тем, кто хлеб выпекает,
Во тьме пекарни ругаясь матом.
Кто корабли к Юпитеру запускает.

Кто раздает противогазы солдатам.
И, хоть в алтарь нельзя бабам от веку —
Допрежь Суда,
допрежь Воскресенья
Дозволь войти мне туда,
Человеку!
И облече бо мя в ризу спасенья!
Яко жениху, возложи ми венец,
И яко невесту, украси мя красотою...
Это мое начало. Это еще не конец.
Препояшусь синею лентою святою —
Синим лентием неба, где свищет мороз
Хулигански,
в два пальца,
под облаками..

...Поклонюсь Богородице, дурея от слез,
Мертвую медь оклада
щупая живыми руками —
Той девчонке, худой,
будто ковыль,
Взявшей двоих из детдома на воспитанье...

И надену подризник и епитрахиль,
Рагоборствуя против тленья — пыланьем.

Богоматерь Владимирская. Икона

Очи ее – сливовые.
Руки ее – ивовые.
Плащ ее – смородиновый.
Родина.

И так ее глаза печально глядят,
Словно устали глядеть назад,
Словно устали глядеть вперед,
Где никто-никто никогда не умрет...

А мы все уходим. И мы все – уйдем.
...Лишь одна в Успенском соборе своем
Глядит печально, зная про то,
Что никогда не умрет никто.

«Милые, спите. Вас не тревожу...»

Иду к жертвеннику ближе и беру кадило.

Милые, спите. Вас не тревожу.
Кто-то отходит – кто-то родился.
Просто – душа меняет кожу.
Каждый из нас на страданье сгодился.

Из кожи и меди, из матерьяла,
Койй наждак и алмаз не брали,
Мы возродимся! Начнем сначала —
Как будто мы и не умирали.

Все вам наврали! Не типографской
Краской – а темперой златовласой
Нас обозначат! Не радиосказкой —
Правдой архиерейского баса.

Мы возвращаемся. Поглядите:
Это я – со шрамами пыток.
Это я – в побоях подпитий.
Это я – помнящий свиток —

Список тех, кто убит при попытке
К бегству
кто позорно стыл дезертиром
В зимней землянке
мокрый до нитки
Перед воюющим наглым миром

«– Мне в алтарь нельзя было – а я сюда влезла...»

– Мне в алтарь нельзя было – а я сюда влезла.
А ты кто?

– Чай, не признаешь меня, болезной,
драно пальто?..

– Бабушка, булку тебе, кипятка бы...
А здесь – вино да просфоры...

– Наплюй, дочка. Мы, старые бабы —
юного Времени воры.
Я ведь побирушка.
А звать меня Елена Федоровна.
А мать моя была графиня.

Над алтарем под куполом —
серебряные звезды.

– Елена Федоровна, не стой у дверей, простынешь.

...Поземка в дверь залетает, как в воду – весла.

– Иди сюда.

– Да нешто мне можно – к Царским Вратам!..
В грязном тряпье-то моем!..

– Иди. До Страшного Суда
Здесь будем стоять вдвоем.

Великая Ектенья. Молитва Елены Федоровны

Господи, дай Ты мне силы еще пожить
И у соседки на кухне вприкуску чайку попить.
А так мне больше ничего и не надо.
Солнышко горит зимой —
И в сумке моей согревается
черствый хлеб ледяной.
Мы ведь привыкли эти льды да метели грызть...
Господи, а лучше и не надо, бо аз в сем мире бысть.

А я слышала другое:

О тех кого давно убили
кого давно пережила
чьи в мерзлых северных могилах
истлели вечные тела
О маме розовой графине
хрусталь очей пшеница кос
чье тело расстреляв в полыни
ногой спустили под откос
Она Флоренского читала
она в бессмертие души
так верила
она считала
на масло постное гроши
О тех кто плакал на трибунах
о тех кто хохотал внизу
о тех, кто нас пугал коммуной
цитатой вышибал слезу
под грузом лжи
под грузом правды
под электрическим бичом

О тех что были Солнцу рады
там за тюремным кирпичом —
ох как молюсь
ох как страдаю
да только проку ли им в том
что я себя здесь осеняю
уже нездешним тем крестом —
железным хлебным сыромятным
без яхонтов
без бирюзы

О тех что плакали стократно —
лишь две слезы

лишь две слезы

...Риза расписная мне спину жжет.
Рядом с графской дочкой на колени – бух!
Я еще молюсь о том, чтобы мой народ
не был больше слеп,
не был больше глух.

Но дрожит глухой, щупая струну.
Но бредет слепой, простирая длань.

...Только отведи, коли сможешь, – войну.
Там – любой мукой мученической стань.

**«– За всех плавающих, путешествующих,
летающих, едущих! ...»**

*И вбежал в церковь подросток худой.
Глаза васильковой плескали водой.*

– За всех плавающих, путешествующих, летающих, едущих! —
пронзительно закричал.

– За станцию, вокзал, разъезд, причал!
За пятна мазута на шпалах.
За проводниц усталых.
За опилки чая в квадратах бумаги.
За трусливых снегов белые флаги.

За скамейки где спим
ожидая поезд
За буфеты где буфетчица в жирной помаде
шарит собачьим глазом по полкам
у сметы расчетливой
не в накладе

Нас много – у ржавых рельс на примете
в пасынках у расписаний
в крестниках у тебя
ожидальный зал

– Бог с вами, беспокойные дети.
Хотите – превращу эту церковь
в вокзал?

Иркутский вокзал

Скамья ожидальная. Грязи полно.
И чистое небо в дверях.
За пазухой греет сухое вино
Безумный старик в газырях.

Татарские лица, бурятская кровь,
Монголия рядом, – гляди!
Гляди – крест холодных полярных ветров
На гордой байкальской груди.

И, углем груженный, проходит состав.
И скорый, где люди не спят,
А курят, над сальной колодой устав
Клясть мир, что не нами зачат!

Вокзальные лики! Мой люд золотой!
Сибиринка горестных скул!
Пройдешь – и усну под Твоею пятой,
Как дед, как отец мой уснул.

Из кружки напиток. Достать из мешка
Хвост омуля, черный ломоть.
О, жизнь так мала. А земля далека.
И каждый транзитный – Господь.

Он в каждом лице, в каждой смуглой руке,
В мазуте мозольных кистей,
Он в спящем, усохшем как хлеб старике
И родинках тощих детей.

И я так спала! И я так же плыла
В ковчеге, где холод и грязь —
За крохою счастья! За блеской тепла,
И плача во сне, и смеясь!

А счастье – насыпать песчаную соль
На черствый дорожный ржаной...
Душа моя, вспомни – доселе, дотоль —
Кто ехал и плакал со мной.

Хлеб

В золотой епитрахили
я стою одна.
А в оконную решетку – яблоком – Луна.
Лью вино в святую чашу.
В хлеб вонжу копье.
Вот и вся тут радость наша,
счастье мое.
Хлеб отрежет нож кухонный.
Запахи вдохну.
На стекле – узор морозный...
Дань отдам вину.
Чтоб забыть, как на вокзале
девочка спяна
Бормотала: «Поглядите,
что же за Луна!..
Ах вы, кобели слепые, —
что за желтизна!..
Вот закуской лезет в руки!..
Только – без вина...
Не тяните!.. Вам бы – лапоть...
Я сама пойду...»
Ей бы где-нибудь поплакать.
Повыть на звезду.
Смех упорный во все горло:
«И пила, и пью!..»

Я с вином и хлебом
голо
в алтаре стою.

Иоанн Креститель. Икона

Ты в парке городском – один.
Ты – бакенщик. А что зимою?
Нельзя же по миру – с сумою...
И сам себе ты господин.
За пазухой согреешь то,
За чем в толпе огромной, втертый
В нее винтом, порвал пальто,
А вышел вон – добычей гордый.

С тобой хочу я есть и пить.
Меня никто здесь не осудит.
Ведь зельем стужи не избыть,
А старость щиколотки студит.
Стакан буфетный... Ветер, вей!
О бакенщик, ты зимний житель.
Да нет. Ты первый из людей —
Последний Иоанн Креститель.

Рабочей выгнутой рукой
Ты сцепишь кружку, как клещами.
Ты зажигаешь над рекой
Огни, чтоб путь нам освещали.
О бакенщик, скажи мне путь!
Предтеча – тот, кто рядом с нами.
Давай – за тех, кому уснуть
В ночи под царскими снегами.

И выпил он, и мне сказал:
– Согрелась?.. – и рукав понюхал.
А за спиною мерз вокзал.
И молоток отбойный ухал.
И в ватнике он предо мной
Поднялся – так взмывают свечи,
Шатаясь, – маленький, хмельной,
Последний Иоанн Предтеча.

И выдохнул:
– Родится такой человек, вроде Христа...
И все перевернет...
А дотоле – плачь, народ.
Нет на нас ни кнута, ни креста.
Все распоганили, а теперь – возвести
Заново?..
Это поищи дураков...
Дело сделано – и прощай-прости.

И – аминь во веки веков.

«АНТИФОН...»

АНТИФОН:

*«Изыдет дух его и возвратится в землю
свою...»*

Я метнулась в сторону.
Синяя моя риза,
Вышитая золотыми павлинами, – полетела!
Свечи задела! Стало видно снизу
Прихожанам – мое крепкое тело.
Что есть одежды?
Пелены да ткани...
Страшно мне, страшно!..
Идет ко мне из мрака
Старик – без слов, без мольбы, без покаяний.
А у ног его – то ли волк, то ли собака.

– Это ты тут служишь, девчонка, Литургию?.. —
Задрожало во мне все.
Так дрожат в болезни.
– Я-то думал – будут песнопенья другие.
А ты поешь мне
все старые песни.

– Что тебе спеть?.. —
еле разлепила губы.
– Спой, дура, то,
чему тебя не учили.
Слишком много нежности.
Ты попробуй – грубо.
Жестокостью
многие беды лечили.

– Многие беды?.. —
я, хрипло, еле слышно...
Свечи ходуном ходили во мраке.
Усмехнулся:
– Я – надзиратель твой всевышний.
Ты была у меня
под **номером**
в пятом бараке.

*И внезапно старик сжимает до хруста руки
перед образом,*

*а собака садится и, подняв голову,
воет, воет прямо в купол!*

– Эх, девка дорогая,
упился я отравой.
Очисти мою душу
от совести лукавья!
Они приходят ночью...
О! с нимбом вокруг лысины —
Глядит;
глядит воочью
Девчонка с мордой лисьею!
Бежала задыхаясь
я в спину
в спину целился
Побег – судьба такая
Не всяк на то осмелился

А нынче бы мне от себя убежать
Берданка отменна – да страшно нажать
Кусок раскаленного пальцем металла
Чтоб мука проклятая враз перестала
Эх девка ты молишься
ну и молись
А жись – не молитва
А жись – это жись
А жись – это ближнего носом в колючую
Проволоку
это орден на случай
А вдруг смена власти
а вдруг что пожиже
Тогда я себя и на троне увижу
А самодержавие – неистребимо
Иконы хоругви народом любимы
Народ зацелует оплечье иконы —
И снова пойдут на Восток эшелоны
И снова на Север
и снова на Запад
И снова коровий теплушечный запах
И снова с винтовкой стою на охране
Вонючий «бычок» «Беломора» в кармане
И белки по елям
и Солнце по насту
Собака моя молода и клыкаста
Ты, низшая каста!..
Запляшешь под дулом!..

Спой песню такую
чтоб совесть уснула

Св. Николай Мирликийский. Икона

*Этот человек не приказывал и не унижал.
Он просто Город на ладони
держал.*

– Гляди же, девчонка! Живая ладонь,
А я умещу на ней град —
Подъемные краны и храмов огонь,
Дворцы, где пирушки гремят!

Где люстры над сытыми лицами жгут
Пчелиные, злые огни...
И рек ледяных замороженный жгут,
Где спят ледоколы – одни...

Ладонь человечья – такая земля!
Гляди!.. Это страшный овраг,
Где санки на гибель летели, пыля,
Под визги мохнатых собак!

А это – Кремли, маков цвет, терема,
Узоры, чесночный зубец
Кирпичной стены!.. А поодаль – тюрьма,
А ближе – пустырь, как рубец.

Я в этих подъездах познал и ножи,
И теплые щеки любви...
Ну что, заробела, девчонка?.. Держи!
Теперь эти башни – твои!

Торговые, с запахом кожи, ряды!
И рынки, где птицы клюют
Бесценный изюм!.. В отведенье беды —
Бери, если даром дают!

И он протянул мне сверкающий град
С часовней, похожей на «Ять»!
И я поняла: нет дороги назад!
И надо подарок принять.

И я прошептала: – Спасибо! Беру... —
Но вспышка ожгла мне ладонь.
И вдаль полетел на широком ветру
Тугой и жестокий огонь.

Летела судьба моя, город ночей,

Задымленных, праведных дней.
Летел и горел, будто сотни свечей
И горьких фонарных огней.

И в пламени этом горели дома,
Где плакало детство мое,
Где я по простору сходила с ума,
В каморке зубря Бытие.

Св. Мария Египетская. Икона

Коричневый лик. Вот уже и старуха.
Плащ кровавый тяжелей камня.
Ступни легче птичьего пуха.
Держит зеркало костистыми руками.
Годы прорезали кресты и звезды
Под глазами, на темной цыганской коже.
Теперь осталось одно: просто
Посмотреть в зеркало.
До дна. До дрожи.
Морщины открыты Солнцу и ветру.
Розданы девкам помады и краски.
Лишь взгляд в центре лика – бешеный, светлый,
Глядящий в колодец тьмы без опаски.

«ТРЕТИЙ АНТИФОН...»

ТРЕТИЙ АНТИФОН:

*«Блажени нищии духом,
ибо тех есть Царствие Небесное».*

*...Ох ты, нищая моя
Да на Мытном рынке!..
Среди люда и зверья —
Молоко из крынки!..*

Монета сожгла мне пальцы.
Потом – ее ладонь.
Духи мои закрыла отчаянная вонь.
И я ее вдохнула, как чистый кислород.
От Сотворенья Мира
стоял бессчетный год.

Царицею сидела
старуха на снегу.
И я вдруг поняла, что больше не могу
Быть сытой и красивой – пред голодом ее,
Венчающим колючей короной – бытие!

Мышиные лохмотья. В сугробе – костыль.
А с неба густо валит серебряная пыль.
О Господи, вот так бы земной окончить путь —
К прохожему ладони во выюге протянуть.

Глаза ее – черные дыры – средь рыночных огней!

...От Сотворенья Мира я – ее – бедней.

«Плачет сестра моя: замуж никто не берет...»

«Блажени плачущие: яко тии утешатся».

Плачет сестра моя: замуж никто не берет.
Ну же, нашла о чем плакать!.. Свобода дороже!..
Что ж по ночам затыкаешь кричащий рот
Мокрой подушкой, пропитанной шепотом: «Боже...»
Зеркало рысьим глазом мигает в тебя.
Стынет косметика. Угли в голландке застыли.
Жить как старуха, бобылью тоску претерпя?..
В зимнюю полночь сдается, что камни завыли.
Плачь! В этом мире единственно ценное – плач!
Слезы крупнее монет. Так оплатишь по счету
Штопанный локоть да сохлый дешевый калач,
Да дискотеку, где пьяное чувство полета.
Все так оплатишь – окладов витое литье
В церковке углой, на кою плевать приучили,
И нерожденных детей, и страданье свое,
Что, как нагрузку к покупке, насильно всучили.
Плачь! Ты сестра мне. На улице дикий мороз.
Залито напрочь лицо золотыми слезами.
Плачь! Это счастье – так плакать, слабея от слез,
Видя иные миры высоко пред глазами.

«У меня вокруг шеи ...»

*«Блажени кротцыи,
яко тиши наследят землю».*

У меня вокруг шеи —
воротник серенький-серенький!
Я не открыла никакой Америки.
Подъезд – служба – общепит – подъезд —
Это мой маленький, потертый крест.
Шнурок черный. А крестик золотой.
Я не блещу никакой красотой.
А нынче в автобусе сдавили так
Что под левое ребро вошел пятак
Смолчала я
кратко глядя во тьму
Ибо мой крик
не услышать никому

«– Кто ты, женщина золотоволосая?..»

*«Блажени милостиши,
яко тиши помиловани будут».*

– Кто ты, женщина золотоволосая?

Из тьмы подходит – голая, босая.
Глаза раскосо стоят, горящие.
На шее – брильянты ненастоящие.

– Помолись за меня. Я любила всех.
Из-за налюя – снегом – смех.

– Глянь, глянь, – да она вся в синяках!..

– Дурак. Вот она летит – в облаках.

– Она и с тем богомазом спала!..

– Дурень, она же
его бессмертной возлюбленной
была.

...Отпусти мне, милый, все грехи.
Я была перед тобой виновна.
Пела – воробьем из-под стрехи —
Всем царям и господам сановным.
Простыни стелила им, хрустя
Сгибами да белизной крахмальной...
Ты прости – не от тебя дитя,
Вверх и вверх растущее печально.
Ты прости, что без тебя жила,
Жиром да вином пятнила скатерть!..
...Я такая грешница была,
Что с меня писали Богоматерь.

Колония

*«Блажени чисти сердцем,
яко тиши Бога узрят».*

Мороз – за двадцать. Горлом – ругань,
Как кровь. И встали, как столбы —
Недвижно, деревянно, грубо.
Сияют стриженные лбы.

Я не боюсь вас. Ближе, дети.
Я ничему не научу.
На сцене в пыльном тусклом свете
О вашей жизни помолчу.

На воле – дергаются панки.
И что-то рокеры кричат.
У вас глаза, как после пьянки,
И лапы загнанных волчат.

Колония. Соври попробуй.
А ну! Давай-ка не молчи.
Мальчишки эти в серых робах —
Нам – ангелы и палачи.

Они казнят нас, если надо.
За песенное барахло.
За то, что мы подачке рады.
За то, что сытно и тепло.

Хоть сытость – молоком прогорклым.
Хоть жар – ступнею на снегу.
Мальчишки, милые! Мне горько.
Но я соврать вам не смогу.

Я только вас пересчитаю
И ужаснусь: сколь много вас!
Как смотрит Родина святая
Безверьем жестких детских глаз...

И, тщетно руки вам со сцены
Протягивая и крича
Стихи, – я ужаснусь измене
Труду тюремного врача.

«Я желала... Я хотела...»

*«Блажени миротворицы,
яко тиши сынове Божии нарекутся».*

Я желала... Я хотела...
Не возбраняется штопать черные дыры...
Я хотела принести собственное тело
В жертву Фейерверку Будущего Мира.

О мире молитва такая написана!.. Слушать —
Некому. Все кругом – атеисты.
...Я хотела принести собственную душу
В жертву звезде, горькой и чистой.

А звезду заслонили дымы котельной.
А на кухне жарят хлеб на маргарине.
...Я хотела спасти людей от беды смертельной!
Выяснилось – беды нету и в помине.

Апокалипсис – просто страшная сказка.
А все договоры все равно подпишут.
А чудо – посреди ненависти – ласка.
А чудо – это когда тебя глухие – слышат.

И теперь я уже не молюсь о Мире.
За меня старухи поют в церкви
тонкими голосами.
Ну, а я – все штопаю простые черные дыры.
Ибо заплататы на все прорехи
мы приучены ставить
сами.

Вознесение Богородицы. Икона

Ноги мои – на облаках. Руки ввысь возношу!
...Мир несет меня на руках. Разве этого я прошу?
Платье резко вьется вокруг ног моих – ярко-алый атласный стяг!
...Вот и видит меня в небесах мир живых.
Как мне стыдно, что это так.
Ведь мой Сын учил, что гордыня – грех,
Самый тяжкий между людьми!
Вот и вижу на круглой земле я всех,
Кто забыл, забыл о любви!
А кто помнит только подземный смрад
Да на масло жирный квиток,
Не увидит, как глаза детей зверино горят,
Когда плачет тяжелый рок!
И, раскинув руки, по музыке неба лечу!
На устах слова запеклись!
Поглядите, люди! Я так хочу,
Чтобы вы
поглядели
ввысь.

Икона Всех Святых

Пророки, архангелы, Иоанн Креститель,
Кто на Крещение бил в лицо
железным снежком!
За то, что забывала вас, – вы меня простите!
Я нимбы нарисую вам яичным желтком.

Я ночью прокрадусь сюда. Вот киноварь в банке.
Вот бронза сусальная – для ангелов она.
Допрежь маханья кисти я повторю губами
Все ваши золотые, дорогие имена.

Кого я позабыла? – что ж, не обессудьте:
Какое время длинное – такая и родня!..
Вы глянете в меня со стен, любимые?.. —
нет, судьи!
Хоть не судимы будете – вы судите меня.

Святой мой Николай —
родитель мой бесценный...
На кухне спишь,
уткнувши лоб
в сгиб сухой руки.
В моей крови идут твои отчаянные гены:
Краплак – Гольфстримом!
Тихий свет индиговой реки...

Тебя пишу одним мазком. Темно и сыро в храме.
Опасно свечи зажигать – увидят меня.
Но первую свою любовь
пишу в алтарной раме —
На ощупь, бешено, светло, во мраке, без огня.

Святой Григорий Богослов,
ты говорил прекрасно!
В гобой консерваторский дул.
Мне воблу приносил.
Я киноварью плащ тебе малюю – ярко-красный.
И улыбаюсь над собой – ведь плакать нету сил.

Была я дерзкой девушкой. Не верила в Бога.
Святой мой Игорь покупал перцовку и табак.
От наших тел-поленьев
свет стоял в жильё убогом!
А в белой пылине окна – аптека и кабак...

Святой архангел Михаил!
Прости мне, если можешь.
Мой грех был. И на свете нет ребенка от тебя.
Но ребра, твой худой живот
я помню всею кожей.
Сошел с ума ты.
Души врут.
Правдивы лишь тела.

Святой целитель Валентин —
блатняга в куртке грубой,
Познавший суда и решетки ржавой вкус!
В тюрьме немых морщин
твои рисую губы.
Но не боюсь. И не люблю. И даже не стыжусь.

А там, в квадрате золотом,
кто затаился в синем?..
Иркутский рынок, синий снег —
за грозными плечьями...
А улыбка – детская. Святой ты мой Василий.
Благодарю, что в мире
мы встретились – людьми.

Но снова в горы ты ушел.
Байкал огромный вымер.
Я вздрагиваю, слыша в толпе —
прощальный крик!
Псалом утешения мне спел святой Владимир,
Серебряный Владимир, певец, седой старик.

О, как же плакала тогда, к нему я припадала!
О, как молилась, чтоб ему я стала вдруг – жена!..
Но складки жесткие плащей я жестко рисовала.
Но клала грубо краску там,
где злость была нужна.

И на доске во тьме златой
толклись мои фигуры —
Неужто всех их написать мне было по плечу? —
Бродяги, пьяницы, певцы, архангелы, авгуры,
И каждый у груди держал горящую свечу.

Да что же у меня, однако, получилось?
Гляди – икона Всех Святых
на высохшей доске...
Гляди – Любви все мои,
как Солнце, залучились!
Я с ними – разлучилась.

Лишь кисть – в кулаке.

Лишь эта щетка жесткая, коей храм целую,
Закрашивая камень у жизни ни краю!

...Икону Всех Святых
повешу одесную.
Ощую – близко сердца —
только мать мою.

Спас Нерукотворный. Икона

...Когда из мрака, из сумасшествия,
Из первого и второго Пришествия,
Из раздвинутых ветром сфер,
Из борьбы неверий и вер,
Из компьютерных игр запутанных,
Из соковищ, в чулки закутанных,
Из ветров, что солью буранною
Жестко сыплют в грудь деревянную —

Вдруг – Лик —
остановись. Замри.
Он не в апсиде. Он не в нише.
Он просто – у тебя внутри.
Он ясно виден. Также – слышен.

Он золотой и бледный. Так
Традиционно малевали
Иконописцы – за пятак
Собрата-пьяницу в подвале.

Власы стекают по щекам.
Он узнаваем несомненно,
Натурщик, проданный векам
За трешку
матерью-Вселенной.

Прокуренная желтизна
Тяжелых скул, слезами, жиром
Залитых. Жизнь Его – одна
Пред перенаселенным миром.

Он просто нищий человек.
Кто шьет Ему прозвание Спаса?
Вон – из пивнушки – в мокрый снег,
Без вопля, возгласа и гласа.

И, бормоча, что мочи нет,
И, бессловесней всякой твари,
Он месит ботами проспект,
Участвуя в планетной сваре.

Его потертое лицо
Мерцает, не находит места...
И вдруг над лысиной кольцо
Зажжется в темноте подъезда.

Сусальный, рыжий ореол,
Жарптичий, наподобье диска!

...А хор вопит, что Ты ушел,
Но жил меж нами.
Слишком близко.

Икона Страшного Суда

Синие сферы горят изнутри.
Два безумных старика летят.
Пот со лба рукой оботри.
Да, эти стрелы в тебя свистят,
Да, ты уже за бортом! А фал,
Этот толстый и наглый трос,
Как паутина, порвался, упал,
Чтоб ты один в Космосе рос...
За стариками летит жена.
Космы – кометой пространство бьют.
Она в диком Космосе тоже одна.
Она боится, что ее убьют.
За женою девчонка летит.
Она – сирота. Ребра торчат
Ксилофонно. Она никогда не простит
Сытым деткам, что «Мама!» – кричат.
Синие сферы крутят их всех,
Но и тебя тоже! Но и тебя!
Как ни кутайся в теплый мех —
Космос хлынет, губя и любя.
И полетишь, пылая, крича,
Вместе со всеми в синюю тьму,
Убегая по ветру, предалтарная свеча,
Которую – не загасить никому!
А два безумных седых старика
К тебе подлетят и под мышки возьмут.
Ты увидишь синие звезды и черные облака.
Да, это и есть твой Страшный Суд.
Золотой, чернокнижный, кровавый и земляной,
Грохочущий чисто, как водопад,
Над грязным миром, над потной войной,
Над Временем, что идет только назад.
Над Временем, что идет только вперед!
Даже если назад – все равно вперед!
И ты своею смертью докажешь, что
Никто все равно
Никогда не умрет.

Колыбельная

Баю-баю-баю-бай
Это наш домашний Рай
Вот божница, вот газета
Там все молятся – про это
Закопченная плита —
там стоит картошка – та
что за зиму надоела
что за сыном мать доела
Вот мальчишка при свечах
с гениальностью в очах
Вот перо и лист бумаги
парни русские бедняги
Вера гений время быт
мальчик мой и ты – убит
Баю-бай баю-бай
кухня голод вечный чай
Напиши мой мальчик что ли
текст молитвы
а доколе
ты не сможешь —
баю-бай
поскорее засыпай

«...Смертью смерть ты поправ...»

- Это твой сын?
- Нет.
- Возлюбленный?
- Нет.
- Что ж ты по нем рыдаешь так много лет?

...Смертью смерть ты поправ.
Только это тебя и спасает.
Не питье, не жратва, —
 только тот металлический стол,
Где под скальпелем мысли
 так сердце твое воскресает,
Что уж лучше бы ты, изругавшись,
 под землю ушел.

Нет, еще поживи!
Человек, а не Бог ты, бедняжка, —
Наспех сладость кафе,
 наспех – горечь любовных минут,
Полумесяцы соли
 под мышками рваной рубашки,
Что сорвут в подворотне друзья
 и подошвой сомнут.

Но тебя я люблю.
В честь тебя прохожу я, босая,
На молебен – зимой,
 в кровь ступни обдирая об лед!
Но тебя я – люблю. Только это тебя и спасает.
Только это, щенок,
 и бичует тебя, и ведет.

И когда за веками,
 с которыми цифрой не слажу,
Намалюют тебя
 на бескровной церковной стене, —
Голос мой из-под купола
 жестко и яростно скажет:
– Это лишь Человек.
Все, что думал,
Он высказал мне.

Правда

*«Блажени алчущие и жаждущие правды,
яко тиши насытятся».*

Ярлык прицеплен. Выдан номер.
Заказан погребальный хор.
Я знать хочу, за что ты умер,
И прочитать твой приговор.

Я знать хочу, какая сила —
Пред тем же кованым крестом —
Тебя помоями чернила
И золотом мазала потом.

Я знать хочу, как месят войны.
Я знать хочу, кто выдал план
Концлагерей в полях привольных
И гнойных пограничных ран.

Как строят розовые тюрьмы
И сумасшедшие дома.
Зачем листы кидают в урны,
От выбора – сходя с ума.

Вы, плотники и хлебопеки!
Медсестры и гробовщики!
Вся ваша правда, человеки.
Вам кривда будет не с руки.

И в этом мире, где дощатый
Настил – над пропастью прогнил,
Я знать хочу, кто – виновато,
Кто – без вины себя хранил!

Кто двадцатипятисвечовый,
Сиротский свет в ночи лия,
Вставал с постели вдруг в парчовой,
Заместо нищего белья,

В пророческой, рассветной ризе,
И разверзались уста,
Чтоб вытолкнуть слова о жизни,
Где Правда,
Кровь
и Красота.

ЛИТУРГИЯ СУМАСШЕДШИХ

Манита пророчествующая

...На ужин был кефир сегодня...
Вот зеркала машинный дым —
Дышу больничной преисподней,
Сверкаю зубом золотым...

Теченья вен – в чернильных пятнах.
Во рту – соленый йодный вкус...
Схожу с ума – вполне понятно.
Да вот совсем сойти боюсь.

Сестра!.. Боюсь одна – в палате...
Мне закурить бы – тут нельзя...
Халат – заплатка на заплате —
Со стула падает, скользя...
Все спят... О, тело самолета —
Оконной рамы черный крест...
Лечу во тьму!.. Огня охота...
И бельма стекло жжет норд-вест.

Какие у стакана грани —
Сожму в руке – раздастся хруст...
На перекрестке умираний
Одна остаться я боюсь!..
Ох, шлепанцы на босу ногу...
До двери, плача, добегу —
Ну, помогите ради Бога —
Одна я больше не могу...

Я больше не могу на свете
Одна! Ведь пытка это, Ад!
Я плачу так, как плачут дети,
Когда ведут их в детский сад!
Во тьме тяжелой мать вижу:
Вот за столом сидит одна,
И сморщенную грудью дышит,
Хрипя, минувшая война,
А сын – на нынешней, позорной,
В горящих зубьями горах,
Где звезд пылающие зерна
Летят в земной кровавый прах,
Где у хирурга под ножами —
Тугое, юное, в пыли —

Не тело корчится,
а пламя
Разрытой взрывами земли!

Провижу – все вот так и будет:
Ни веры нет, ни счастья нет, —
И полетят, изверясь, люди
Во тьму, как бабочки – на свет!
Хлеб, чай горячий на дорогу,
Прикрыть истертым шарфом грудь...
О, как же в мире одиноко,
Пойдем мы все когда-нибудь!
Провижу – закричим: «Пощады!»
Войдет рассудка ржавый нож
Под сердце! Да напрасно рады —
Ведь от безумья не уйдешь!
Нас всех, быть может, ожидает
Рубаха для смиренья зла, —
И плачет нянечка седая,
Что я похлебку разлила...

Провижу все! Что будет, чую!
Все возвратится на круги...
И снова привезут больную
Из мировой ночной пурги
Сюда, во спящую палату,
И сердце ей сожжет игла...
Она ни в чем не виновата!
В том, что – дышала и жила...
Зачем живем? Зачем рожаем?!
Зачем родную месим грязь?!
Зачем у гроба мы рыдаем
И обнимаемся, смеясь,
Табачные целуя губы,
Стирая соль и пот со щек, —
Затем, что людям вечно любви
Те, кто устал и одинок?!

Эх, закурить бы... Табачку бы...
Сестра!.. Водички бы испить!..
От страха пересохла губы.
Снотворным бездны не избыть.
И, одинока и патлата,
Я знаю все про этот свет,
Таким пророчеством богата,
Что слов уже навеки нет,
А только хрипы, клокотанье
Меж сцепленных в тоске зубов, —
И бешеным, больным молчаньем

Кричу
про вечную любовь.

«Лечебницы глухие стены...»

*Лечебницы глухие стены.
Стерильный пол. На окнах – грязь.
Сюда приходят неизменно.
Рыдая. Молча. И смеясь.*

*Кому-то ночью стало плохо.
А у кого недуг – в крови.
У тяжелобольной эпохи —
Острейший дефицит любви.*

*И так с ума безумно сходят,
О яростных грехах кричат —
Надсадно, честно, при народе,
В чистой белизне палат!*

*И уж сестра идет с уколом,
Шепча: – Ну вот и боли нет...*

*И видит человека голым —
Каким родился он на свет.*

«Тьма стиснута беленою палатой...»

Тьма стиснута беленою палатой.
На тумбочках – печенья тихо спят.
Больные спят, разметаны, распяты.
Бессонные – в тугую тьму глядят.

Скажи мне, кто больной, а кто здоровый?..
Нас замесили. Тесто подойдет
Как раз к утру.
В начале было Слово...
В конце...
...уже никто не разберет...

Им – хлеб и воду! Папиросы пламя!
Им – номер на отгибе простыни!
И так об кружку застучат зубами,
Что спутаю – где мы, а где они!

И так пойму, из кружки той глотая,
Что нет границы,
 что ОНИ и МЫ —
Одна любовь, едина плоть святая —
Средь саванной, январской яркой тьмы.

«Темнота. Иду по палатам...»

Темнота. Иду по палатам.
Господи! Как трудно быть проклятым!
Иней солью стекла повывездил...
Ветер битой форточкой выстрелил...
В кромешной темнотище —
хрипло, многолюдно.
Дай вынесу за тобой. Мне не трудно.
Дай простынку поправлю. Чай, мы не чужие.
Ты, с капельницей, – спокойно лежи.
А то пойдет мимо крови лекарство
В иное царство, в чужое государство...
Возьми сухарик. Дай в кружке размочу.
Самому разгрызть не по плечу.
Читаешь?.. Не ослепни...
На страницу – белую парчу —
Дай карманным фонариком посвечу...
Закури чинарик, ханурик... Я тебя люблю.
Я с тобой больничный харч делю —
А ты стакан молока мне в лицо – плесь!

...Хлеб наш насущный
Даждь нам днесь.

«– Родные мои...»

– Родные мои...

Не плачьте...

Я заплачу вместе с вами...

Говорите мне – кожей, руками, бровями,
а коль не можете, – то словами.

Говорите мне запахами, стонами... Я все пойму.

Эта речь – только сердцу.

Никогда – уму.

Говорите мне все!

Ваши тайны выбалтывайте —

Как сжигали живые картины, выбаливайте,

Как дитя, замотавши в тряпье неопрятное,

Под крыльцо, изукрашенное инеем, прятали,

Как, распяв невесомую нежность в сарае,

Насладившись, в покаянных слезах умирали,

Как по вене шагали афганскою бритвой...

Говорите мне все... Руганью и молитвой...

Я все знаки пойму. Я все страхи запомню.

Я посмертное ваше желанье исполню.

Для того в этот мир и пришла, чтоб заполнить

Ваших рук – пустоту.

Вашу волю – исполнить.

Я такая, как вы!

Не лечите, врачи.

...Вечный бред мой – Мария,

а пред ней – две свечи...

И как будто Мария – Елена, я,

А две свечи – сын и мать: вся оставшаяся семья...

Говорите мне, свечи!.. Трепещите, пока

Хватит вам на безумную жизнь – фитилька.

Сколько свечек таких – в сумасшедших домах —

Где в подъездах парни бьются впотьмах,

Где крадутся девчонки пещерами тьмы...

Я такая, как вы?!

Я – такая, как МЫ.

«...МЫ...»

...Мы...

А что такое – мы?..

Обнимемся в приделе тюрьмы.

Полузгаем семячки на рынке ледяном

Забудемся в плацкарте посконным сном.

Мы...

...это слово рот прожжсет.

Это – рельсовый стык. Это – тайный сход.

Это – генный и хромосомный код,

Над разгадкой которого сохнет народ:

Почему мы топим друг друга – мы —

В польнье тьмы

посреди зимы,

Почему мы любим друг друга – мы! —

Не прося ни секунды у Бога взаимы...

Трубный глас!

...Заводская сирена: репетируют Конец Света для нас.

А нас не запугаешь.

А нас не умертвишь.

В палате —

Великая Сушь.

Великая Тишь.

Коснусь тебя шершавой грешной рукой,

Баба в пятнах помады,

с глазами, текущими пьяной рекой...

«– Не тронь меня. Не тронь меня...»

– Не тронь меня. Не тронь меня.
Зачем мне голову обрили?
Я б волосами пол мела...

Меня в застоля приводили.
Я там снимала подлицов.
Заманивала на квартиры.
Я хохотала: «Водка вся!..
Пошлем, дружок, еще... к таксисту?..»
И пела – вольно, голосисто.
Сияла в зеркале коса.
Духи мерцали. Пахло пиром.

Потом звонили – резко – в дверь.
При мне пытали. Я кричала!
Огромный человекозверь
Рычал: «Заткни ее сначала».

А голова моя обрита.
А мое тело в синяках.
А оно желтое, как страх,
И лишь рубашкою прикрыто.
А там все голое... А там...
Ох, не гляди... Оно живое...
А то я, как они... завою...
И вою – всю себя отдам...

Рычанье... лепет... рокот...

...Клекот
Всех птиц – над голой головой.
Ропот. Гогот. Хохот. Вой.

И с тряпкой – санитаркин топот:
– Ежели воет – значит, живой.

«Трубы завода войной гудят...»

Трубы завода войной гудят.
Лиловой сваркой два глаза глядят.

...Я работал на заводе много лет.
Оттого я такой скелет!
Масла нету – забастовка тут как тут.
Наши себя в обиду не дадут.
Дождь. На улице грязь. Под станками грязь.
Ишь, какой толстый – нами выращенный князь!
Ишь, какой жирный – нами выращенный царь...
А ну, вали от станка,
а ну, отсюда жарь.
Поглядеть захотелось
на раба своего?!
А рабы сами справляют твое, твое торжество!
А мы сами тебе рукоплещем!
Да ты сам – из нас!..
Ты ж за соседним станком горбился...
Вот тебе и раз!..
Ну, выпялился,
ну, вырядился, царь!..
Давай, отсюда вали...
Ох... О-ох... Чем это вы мне...
так больно...
руку прожгли...

«Парня, качаясь, девка слушала...»

*Парня, качаясь, девка слушала.
Затрясаясь, в подушку себя обрушила.*

...Маленькая, ты не плачь.
Глажу тебя по щеке.
Я не врач. Я не палач.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.